# Армагеддон

# Герберт Уэллс

Человек с бледным лицом вошел в вагон на станции Регби. Он двигайся медленно, несмотря на то, что носильщик торопил его. Впрочем, даже когда он еще стоял на платформе, я заметил, какой у него болезненный вид. Он со вздохом уселся в угол напротив меня, неловко попробовал закутаться в свой плед — и застыл, уставившись неподвижным взором в пустоту. Вдруг он почувствовал мой пристальный взгляд, посмотрел на меня, протянул свою безжизненную руку за газетой, опять поглядел на меня.

Я сделал вид, что читаю. Я боялся, что невольно обеспокоил его, и очень удивился, когда он вдруг заговорил.

— Простите, — сказал я, — что вы сказали?

— В этой книге, — повторил он, указывая худым пальцем на мою книгу, — говорится о снах?

— Очевидно, — ответил я, так как это было «Толкование сновидений» Fortnum-Roscoe.

Он помолчал немного, как бы ища слов.

— Да, — сказал он наконец, — но они ничего не могут сказать вам об этом. Я его не сразу понял.

— Они ничего не знают, — добавил он. Я посмотрел на него внимательнее.

— Сны бывают разные, — продолжал он. Что можно было на это возразить?

— Я полагаю... — Он помедлил, — Вы видели когда-нибудь сны? Я хочу сказать — ясно, очень ясно.

— Я редко вижу сны, — возразил я. — Не знаю, случается ли мне видеть хотя бы три ярких сна за год.

— А-а! — протянул он, казалось, собираясь с мыслями. — Ваши сны не сливаются с вашими воспоминаниями? — спросил он кратко. — Это никогда не сбивало вас с толку? Было это с вами или нет?

— Почти никогда. Разве изредка являлось некоторое сомнение, да и то на короткое время. Я думаю, что это редко с кем бывает.

— А он упоминает об этом? — Незнакомец указал на книгу.

— Он говорит, что иногда это бывает, и объясняет все повышенной чувствительностью, но будто бы это встречается как исключение, а не как правило. Вы, наверное, знаете эти теории.

— Очень мало — только то, что они неверны.

Его бледная рука некоторое время играла оконным ремнем.

Я хотел опять взяться за книгу, но он торопливо заговорил, наклонившись вперед и почти касаясь меня:

— Бывают ли, как их называют, «сны с продолжением», которые снятся одну ночь за другой?

— Я думаю, что бывают. Такие случаи описываются во всех книгах о душевных заболеваниях.

— О душевных заболеваниях? Да. Я думаю, что там есть. Это самое подходящее место для них. Но что я хотел сказать? — Он посмотрел на свои костлявые пальцы. — Но всегда ли это сны? И сны ли это или что-нибудь другое? Может быть, это что-нибудь другое?

Я прервал бы его навязчивый разговор, если бы не напряженная тревога в его лице. Как сейчас вижу его встревоженные глаза, воспаленные, красные веки — вы, наверное, знаете такой взгляд.

— Я не настаиваю на своем мнении, — сказал он, — но это меня убивает.

— Сны?

— Если хотите, назовите это снами. Одну ночь за другой. Ярко, так ярко... Это, — он указал на местность, мелькавшую в окне, — кажется нереальным в сравнении с теми снами! Я едва помню, кто я, чем занимаюсь... — Он остановился.

— Даже теперь сон еще длится, хотите вы сказать? — спросил я.

— Все кончено.

— То есть как?

— Я умер.

— Умерли?

— Раздавлен, убит, и теперь мое «я», как в том сне, мертво навсегда. Мне снилось, что я другой человек, живущий в другой части света и в другое время. Мне снилось это ночь за ночью. Каждую ночь я просыпался в другой жизни. Живые сцены, живые события, пока не настал конец.

— Пока вы не умерли?

— Пока я не умер.

— А с тех пор?

— Нет, — сказал он. — Благодарю Бога — это было концом сна...

Ясно было, что я от него не отделаюсь. К тому же у меня был еще целый час впереди, уже вечерело, а изучать «Толкование сновидений» было не очень интересно.

— Живете в другое время... — сказал я. — Вы хотите сказать, в другом столетии?

— Да.

— В прошлом?

— Нет, в будущем.

— Например, в году три тысячи...

— Не знаю, в каком году. Я знал во сне, то есть когда спал, но не теперь — не теперь, когда я бодрствую. Я многое забыл с тех пор, как проснулся, хотя и знал все, когда спал... Они называли года иначе, чем мы их называем... Как это они называли их? — Он прижал руку ко лбу. — Нет, — сказал он, — я забыл. — Он слабо улыбнулся.

С минуту я боялся, что он мне не расскажет своего сна. Я обыкновенно не люблю слушать чужие сны, но тут было другое дело. Я даже помог ему.

— Это началось... — подсказал я.

— Все было жизненно с самого начала. Казалось, что я внезапно проснулся во сне. Странно то, что в тех снах, о которых я говорю, я никогда не вспоминал настоящей жизни. Казалось, что та жизнь во сне захватывала меня всего. Быть может... Но я вам расскажу, каким я себя вижу, когда стараюсь все вспомнить. Сначала — ничего ясного; потом, оказывается, я сижу в какой-то лоджии и любуюсь открытым морем. Я дремал — и вдруг проснулся бодрый и оживленный, совсем не сонный, — проснулся, потому что девушка перестала меня обмахивать опахалом...

— Девушка?

— Да, девушка. Не перебивайте, а то вы меня собьете. — Он вдруг остановился. — Вы не подумаете, что я сумасшедший? — спросил он.

— Нет, — ответил я, — вы видели сон, расскажите его мне.

— Я сказал, что проснулся и что девушка перестала обмахивать меня. Вы понимаете: я вовсе не удивился, что нахожусь там. Я не почувствовал внезапного перехода. Я это принял просто так, как оно было. Воспоминание об этой жизни, жизни двадцатого столетия, поблекло, исчезло как сон. Я все знал о себе, знал, что меня звали теперь Гедон, а не Купер, и знал свое положение в свете. Я многое забыл с тех пор, как проснулся, — в памяти большие пробелы, — но тогда все было ясно и логично.

Он опять замолчал, схватил ремень от окна, перегнулся и умоляюще посмотрел на меня.

— Вам не кажется это вздором?

— Да нет же! — воскликнул я. — Продолжайте. Скажите, что это была за лоджия?

— Это была не настоящая лоджия — не знаю, как это назвать. Она была мала и выходила на юг. Все было в тени, исключая полукруг над балконом, откуда видно было небо, море и угол, где стояла девушка. Я лежал на кушетке — это была металлическая кушетка с четкими полосатыми подушками, — девушка стояла ко мне спиной, облокотившись о перила балкона. Лучи восходящего солнца освещали ее щеку и ухо. Ее нежная белая шея, вьющиеся волосы на затылке и белые плечи были освещены солнцем, а гибкое изящное тело было в прохладной голубой тени. Она была одета... не знаю, как это описать... во что-то легкое, воздушное. Так она стояла предо мной, и я понял, как прекрасна и желанна она была, как будто я никогда ее раньше не видел. Когда же я вздохнул и приподнялся на локте, она обернулась... — Он остановился. — Я прожил на свете пятьдесят три года. У меня были мать, сестра, друзья, жена и дочери — все лица, игру каждого лица я помню, но лицо этой девушки — оно стоит как живое перед моими глазами. Когда я вспоминаю его, я вижу его перед собой, я мог бы нарисовать его. И все же... Он замолк, я тоже ничего не говорил.

— Лицо, которое вам снится, — это лицо, о котором вы мечтаете. Она была прекрасна. Не той страшной, холодной красотой, способной вызвать поклонение, как красота святой; не той, которая возбуждает страсти, но которая просветляет душу — нежные, кротко улыбающиеся губы и задумчивые серые глаза. Движения ее были так грациозны, она была полна такого изящества...

Он остановился, опустив голову и закрыв лицо руками. Потом посмотрел на меня и продолжил свой рассказ, уже не стараясь больше скрывать, что он верит в абсолютную реальность своего переживания.

— Вы видите, я от всего отказался ради нее, от своих планов, тщеславия, от всего, к чему стремился, чего желал. Я был знатным человеком там, на севере, влиятельным, богатым и известным, но что могло сравниться с ней? Я приехал с ней туда, в этот город, полный веселого солнца, и бросил все на произвол судьбы, чтобы насладиться жизнью хоть под конец моего земного пути. Пока я любил ее, не зная, думает ли она обо мне, не зная, на что она решится, на что мы оба решимся, жизнь казалась мне напрасной и пустой, все было прах и тлен. Так оно было: все прах и тлен. Ночь за ночью и долгие дни я томился и страдал — душа моя боролась с запретным плодом! Нельзя ни с кем говорить о таких вещах. Это только намек, это тень, это восходящий и заходящий свет. Все меняется только потому, что оно здесь, налицо. Дело в том, что во время наступившего кризиса я бросил их на произвол судьбы и уехал.

— Кого бросили? — спросил я, недоумевая.

— Народ, там, на севере. Видите ли, в том сне я был великим человеком — из тех, в которых верят, за которыми идут. Миллионы людей, никогда меня не видевших, готовы были действовать и подвергаться опасностям только потому, что вполне доверяли мне. Я вел эту игру годами — эту великую, трудную игру, эту рискованную, ужасную политическую игру, среди интриг и измены, речей и волнений. Это была обширная и неспокойная страна. В конце концов я выступил против этой шайки — их так и звали шайкой — это было целое сплетение мошеннических планов низкого честолюбия и волнующих умы глупостей и громких лозунгов; это была шайка, из года в год возбуждавшая и ослеплявшая народ и неминуемо толкавшая его к гибели. Вы, конечно, не поймете всей сложности и мрака того времени. Но я все знал во сне до мельчайших подробностей. Я думаю, что все это пронеслось передо мной, прежде чем я проснулся, и смутная цепь событий, вызванная моим воображением, была еще передо мной в то время, когда я протирал глаза. Это темная история, и я был счастлив, что солнце так ярко светит. Я сел, стал смотреть на девушку и бесконечно радовался тому, что выбрался из той сумятицы, сумасбродства и насилия, пока было еще не поздно. Во всяком случае, думал я, здесь — жизнь, любовь, красота, желания, наслаждение. Не дороже ли все это напрасных стремлений к неизвестным, хотя и грандиозным целям? Я раскаивался, что вообразил себя вождем, вместо того чтобы отдать свою жизнь любви. Но потом я подумал, что если бы я в юности не был так строг и требователен к себе, то, может быть, отдавался бы пустым и недостойным женщинам. При этой мысли все мое существо растворилось в любви и нежности к моей дорогой госпоже, моей повелительнице, которая пришла, наконец, и заставила меня — я не мог бороться с ее очарованием! — бросить эту жизнь.

«Ты достойна этого, — сказал я. — Ты это заслужила, моя любимая, моя гордость, моя радость. Любовь! Обладать тобой — это стоит всех их, вместе взятых».

При звуке моего голоса она обернулась.

«Пойди сюда и посмотри! — воскликнула она (я и теперь ее слышу). — Посмотри, как солнце встает на Монте-Соларо!»

Я помню, как вскочил на ноги и подошел к ней на балконе. Она положила свою белую руку мне на плечо и указала на громады скал, как бы пробуждающихся к жизни. Я посмотрел туда. Но прежде всего я обратил внимание на то, как луч солнца, лаская, скользнул по ее щеке и шее. Как описать вам то, что у нас было перед глазами? Мы были на Капри...

— Я тоже был там, — сказал я. — Поднимался на вершину Монте-Соларо и пил «vero Capri» — мутное пойло, вроде сидра.

— А-а! — протянул человек с бледным лицом. — Скажите мне, было ли это действительно Капри; тогда в настоящей жизни я никогда не был там. Подождите, я опишу вам. Мы находились в маленькой комнатке, в одной из бесчисленных маленьких комнат, прохладной и светлой, высеченной из известняка, на каком-то мысу, высоко над морем. Весь остров представлял из себя что-то вроде одного сплошного отеля, неизвестно как составлявшего одно целое. На другой стороне были на целые мили вокруг плавучие отели и громадные помосты, на которые опускалась воздушная флотилия. Это называлось город веселья. Этого не было в ваше время, то есть я хотел сказать, этого нет теперь. Да, конечно, теперь!

Итак, наша комната была на самом краю мыса, так что видно было и восток и запад. На востоке поднималась высокая скала, — наверное, около тысячи футов высоты, холодная и серая, за исключением одной узкой ярко-золотой полоски; под скалой — Остров Сирен и крутой, обрывистый берег, сливающийся с горячим восходящим солнцем. Если посмотреть на запад, ясно был виден маленький залив и узкая береговая полоска, вся в тени. Из этого мрака высоко и гордо вздымался Соларо, багряный, увенчанный золотом, как царственная красавица, и над ним плыла по небу бледная луна. А перед нами от востока до запада расстилалось многоцветное море, усеянное маленькими парусными лодочками.

На востоке эти маленькие лодочки были серые, ясные и определенные; на западе это были маленькие золотые лодочки, из чистого золота, как маленькие огоньки. А как раз под нами была скала, и в ней арка. Голубая вода переходила в зеленый цвет и, пенясь, клубилась вокруг арки, из-под которой скользила лодка.

— Я знаю эту скалу, — сказал я. — Я там чуть не утонул. Ее называют Faraglioni.

— Faraglioni? Да, она ее так назвала, — подтвердил человек с бледным лицом. — Там была какая-то история, но... — Он опять дотронулся до лба. — Нет, — продолжал он, — я забыл эту историю.

Да, первое, что я помню, это был мой первый сон — эта маленькая прохладная комнатка и великолепное небо, и воздух, и любимая девушка, и ее освещенные солнцем руки, ее красивая одежда. Мы сидели и шепотом разговаривали друг с другом. Мы говорили шепотом не потому, что кто-нибудь мог нас слышать, но потому, что все еще было так ново в наших отношениях — наши мысли были как бы немного испуганы и боязливо воплощались в слова, потому и шли они самой легкой поступью. Мы проголодались и пошли из нашей комнаты странными переходами по движущемуся полу, пока не дошли до большой обеденной залы, где бил фонтан и играла музыка. Это было красивое, веселое место — солнце, журчание воды, рокот струн. Мы сидели, ели и улыбались друг другу, и мне не хотелось останавливать внимание на человеке, зорко следившем за нами из-за соседнего стола.

Потом мы пошли в танцевальный зал, но я не могу описать его. Это было огромное помещение, превосходящее все, что вы когда-либо могли видеть. В одном месте в стену галереи были вделаны высокие старинные ворота Капри. Вздымались легкие колонны, золотые ветки и побеги ниспадали со столбов в виде фонтана, заливали потолок, как утренняя заря, переплетаясь, как... как сети заговора. Вокруг всего зала стаяли чудесные статуи, странные драконы и причудливые, удивительные химеры, державшие светильники. Все помещение было залито искусственным светом, более ярким, нежели утренняя заря. Когда мы проходили через толпу, все оборачивались и смотрели на нас, так как все знали меня в лицо и по имени, а также и то, что я неожиданно отказался от власти и борьбы и приехал сюда. Все смотрели также на даму, которая была со мной, хотя никто не знал истории ее появления или неверно истолковывали ее. И я знал, что некоторые из них считали меня счастливым, несмотря на то, что имя мое было запятнано бесчестьем и позором.

Воздух был полон музыки, гармоничного благоухания и ритма красивых движений. Тысячи красивых людей двигались по зале, наполняли галереи, сидели в различных уголках. Все были одеты в яркие цвета, увенчаны цветами, танцевали в большом кругу среди белых статуй древних богов, красивые процессии юношей и девушек проходили взад и вперед. Мы танцевали с ней не однообразные, скучные танцы наших дней, то есть настоящего времени, но какой-то прекрасный, опьяняющий танец. До сих пор у меня стоят перед глазами ее радостные движения. Она, знаете, танцевала серьезно, с достоинством — и все же ласкала меня, улыбалась и ласкала меня взором.

Музыка была тоже другая, — пробормотал он. — Она звучала... Нельзя описать — как! Она была бесконечно богаче и разнообразнее, чем какая-либо музыка, которую мне случалось слышать наяву.

Потом — это было во время нашего танца — какой-то господин подошел и заговорил со мной. Это был тощий, энергичный с виду человек, слишком просто одетый для данного случая. Я уже за завтраком заметил, что он следил за мной, также когда мы шли в танцевальный зал — я все время старался избегать его взгляда, — и теперь, когда мы сидели в небольшой нише, с улыбкой следя за веселящейся публикой, двигавшейся по всем направлениям по ярко освещенному залу, он подошел, дотронулся до меня и заговорил так, что я был вынужден слушать его. Он хотел поговорить со мной наедине.

«Нет, — возразил я, — у меня нет тайн от этой дамы. Что вы хотели сказать?»

Тогда он ответил, что сообщение его будет неинтересно и, во всяком случае, скучно для дамы.

«Может быть, и для меня?» — сказал я.

Он посмотрел на нее, как бы прося защиты. Потом спросил неожиданно, слышал ли я о враждебном заявлении, которое сделал Ившэм. Надо вам сказать, что Ившэм раньше всегда стоял рядом со мной во главе той большой партии, там, на севере. Это был властный, суровый, бестактный человек, и только я умел обуздывать и усмирять его. Я думаю, что больше из-за него, чем из-за меня, так взволновались все тогда при моем уходе, поэтому заданный мне вопрос возбудил во мне заново интерес к той жизни, которую я на время покинул.

«Я за последнее время ничем не интересовался, — сказал я. — Что же говорил Ившэм?»

И он начал оживленно рассказывать. Признаться, даже я был поражен необузданным безумием Ившэма — такие дикие и угрожающие слова были им сказаны. Присланный ими человек не только передал мне слова Ившэма, но стал спрашивать совета и разъяснять мне, как я им нужен. Пока он говорил, моя дама сидела немного наклонившись и следила за выражением моего лица и лица моего собеседника.

Старая привычка обсуждать и составлять планы тотчас же проснулась во мне. Я сразу представил себе мое возвращение на север и весь драматизм этого положения. Все, что этот человек говорил, показывало, что в партии царит большой беспорядок, но крушения ее еще не было. Если я вернусь туда, моя власть будет сильнее, нежели когда я уехал оттуда. Потом я подумал о своей подруге. Вы понимаете... Как вам сказать? Были известные особенности в наших отношениях — не буду упоминать о них, — которые делали ее присутствие там невозможным. Я должен был оставить ее, я должен был открыто и навсегда отказаться от нее, если бы хотел продолжать свое дело на севере. И он знал это, когда говорил со мной и с ней, — он знал это так же хорошо, как и она: исполнение долга означало сперва разлуку, а потом окончательный разрыв. Эти мысли рассеяли мечту о возвращения на север. Я неожиданно повернулся к моему собеседнику, и он подумал, что его красноречие убедило меня.

«Какое мне теперь дело до всего этого? — сказал я. — Я со всем этим покончил. Не думаете ли вы, что я своим уходом кокетничаю с обществом?»

«Нет, — возразил он, — но...»

«Отчего же вы меня не оставите в покое? Я со всем этим уже покончил. Я теперь только частное лицо!»

«Да, — ответил он. — Но подумали ли вы... Эти толки о войне, эти тревожные слухи, эти ярые нападки...»

Я встал.

«Нет! — воскликнул я. — Я не хочу вас больше слушать. Я все принял во внимание, все взвесил. — и я удалился».

Казалось, он собирается настаивать. Он посмотрел на меня, потом на наблюдавшую за нами мою подругу.

«Война», — повторил он, как бы говоря сам с собой, затем медленно повернулся и пошел прочь.

Я стоял, погруженный в вихрь мыслей, вызванных его призывом.

Тогда прозвучал ее голос.

«Дорогой мой, — сказала она, — если ты им необходим...» Она не закончила и остановилась.

Я взглянул на ее милое лицо, настроение мое поколебалось и упало.

«Я им нужен только затем, чтобы сделать то, что они сами не решаются сделать, — возразил я. — Если они не доверяют Ившэму, пусть сами устраиваются с ним как хотят».

Она посмотрела на меня с сомнением.

«Но война...» — возразила она. Я заметил сомнение на ее лице, появлявшееся уже и раньше, — сомнение во мне и в себе: первая тень такого сомнения, строго говоря, уже должна была разъединить нас навсегда.

Я был старше и без труда мог убедить ее в том или ином.

«Дорогая, — начал я, — не смущайся случившимся. Никакой войны не будет. Время войн прошло. Верь мне, что я знаю положение дел. Они не имеют права на меня, дорогая, и никто не имеет права на меня. Я был свободен в выборе жизни, и я сделал свой выбор».

«Но война...» — повторила она,

Я сел рядом с ней, обнял ее одной рукой, а другой взял ее за руку. Я решил рассеять ее сомнения, хотел развеселить ее. Я стал обманывать ее и вместе с тем обманывал и себя. А она слишком охотно верила мне, слишком готова была забыть обо всем.

Вскоре тень рассеялась, и мы поспешили к месту нашего купания, к гроту del Bovo Marino, где мы обычно купались каждый день. Мы плавали и брызгали друг в друга, поддерживаемые волнами; мне казалось, что я становлюсь легче и сильнее, чем обыкновенный человек. Наконец мы вышли из воды, веселые, мокрые, и стали бегать между скал. Я надел сухой купальный костюм, мы сели пожариться на солнце, и я задремал, прислонив голову к ее коленям; она положила, мне руку на голову, стала слегка проводить ею по волосам — и я заснул.

И вдруг — как будто лопнула струна — я проснулся и очутился в своей кровати в Ливерпуле, в своей обычной обстановке.

Только одно мгновение я не хотел поверить, что все, так ярко пережитое, было не что иное, как сновидение.

Я действительно не мог принять все за сон, несмотря на всю реальность окружавших меня предметов. Я умылся и оделся как всегда, и пока брился, размышлял, почему именно я должен покинуть любимую мною женщину для фантастической политики сурового и враждующего севера. Даже если бы Ившэм ввергнул мир в войну, что мне до этого? Я был мужчина, и сердце было у меня мужское. И зачем должен я брать на себя верховную ответственность за судьбу мира?

Вы должны знать, что я не всегда так отношусь к делам, к моим реальным делам. Я, нужно вам сказать, присяжный поверенный и имею твердые убеждения. Поймите, видение было так реально, так непохоже на сон, что я постоянно вспоминал самые незначительные подробности; даже обложка книги, лежавшей на швейной машинке жены в столовой, ярко напомнила мне золотую полоску на кресле в нише, где я разговаривал с посланным о покинутой мною партии. Слыхали ли вы когда-нибудь о подобных снах?

— О подобных снах?

— То есть чтобы впоследствии вспоминались мельчайшие забытые подробности?

Я задумался. Мне никогда раньше не приходил в голову этот вопрос.

— Нет, — сказал я, — кажется, что так никогда не бывает во сне.

— Да, — ответил он, — но как раз так это и было. Я, понимаете ли, присяжный поверенный в Ливерпуле и часто спрашивал себя: что подумали бы обо мне мои клиенты и люди, с которыми я был в деловых отношениях, если бы я им вдруг сказал, что люблю девушку, которая родится через несколько столетий, и страдаю за политические недоразумения моих прапраправнуков?

Я был очень занят в этот день и заключал девяностодевятилетний контракт с одним нетерпеливым архитектором, и нам хотелось во что бы то ни стало заставить его подписать этот контракт. Во время разговора со мной он вел себя так несдержанно, что я пошел спать еще очень взволнованный. В эту ночь я не видел сна, как и в последующую, насколько я помню. И во мне поколебалось убеждение в реальности происходившего. Появилось чувство, что это был сон. Но потом вернулось прежнее ощущение.

Когда четыре дня спустя сон возобновился, все было по-другому. Я думаю, что и во сне прошло четыре дня. Многое случилось за эти дни на севере, тень этих событий опять легла между нами, и на этот раз было не так легко ее разогнать. Я, помню, начал с грустью раздумывать: почему, несмотря ни на что, я должен до конца своих дней возвращаться к труду и работе, унижениям и вечному недовольству только для того, чтобы спасти от гнета и ужаса войны и неудачного правления сто миллионов простого народа, который я не люблю и слишком часто презираю? И, в конце концов, кто поручится, что я не ошибусь? Все они стремятся к своим личным целям, почему же и мне не жить, как все люди? И вдруг ее голос прозвучал среди этих размышлений.

Я поднял глаза. Я очнулся. Мы поднимались над городом веселья, были почти на вершине Монте-Соларо и смотрели на залив. Уже близок был вечер. Вдали слева Иския как бы плыла в золотистом тумане между небом и водой. Неаполь вырисовывался белым пятном на холмах, перед нами был Везувий с длинной стройной полосой дыма, тянувшейся на юг, а невдалеке сверкали развалины Торре-дель-Аннунциата и Кастелламаре.

Я вдруг прервал его:

— Вы были, наверное, на Капри?

— Только в этом сновидении, — ответил он, — только в этом сновидении. Вдоль всего залива, по ту сторону Сорренто, вырисовывались плавучие дворцы Города Радости — они стояли на якорях. Дальше на север были широкие плавучие платформы, куда приставали аэропланы. Каждый день после обеда аэропланы спускались с высоты и приносили тысячи людей со всех концов света на Капри для его радостей. Все это лежало у наших ног.

Мы все это разглядели только вскользь, так как нам пришлось увидеть в этот вечер нечто совершенно необычайное. Пять военных аэропланов, давно дремавших без всякой пользы в дальних арсеналах устья Рейна, маневрировали теперь на восточной стороне небосклона. Ившэм удивил весь свет, послав эти и много других аэропланов в разные стороны. Это была уже реальная угроза в той смелой, дерзкой игре, которую он вел, и даже я был поражен — настолько это было неожиданно. Он был одним из тех невероятно упрямых, энергичных людей, которые как бы посланы провидением творить несчастья. На первый взгляд его энергию можно было принять за даровитость. У него не было ни воображения, ни изобретательности — только тупая, огромная сила воли и сверхъестественная вера в свое тупое, идиотское, не покидавшее его счастье. Я помню, как мы стояли над мысом, следя за планирующей вдали эскадрильей; я понял тогда же все значение этого, я уже предвидел, какой оборот принимает дело. И все-таки еще не было слишком поздно. Я должен был вернуться и спасти мир. Я знал, что на севере они пошли бы за мной при условии, чтобы я только в одном пункте не противоречил их взглядам. На востоке и на юге ко мне отнеслись бы с большим доверием, чем к кому-либо из северян. Я знал, стоило мне только сказать ей, и она отпустила бы меня... и не оттого, что она не любила меня!

Мне не хотелось уезжать, у меня были совсем другие планы. Я так еще недавно сбросил с себя этот кошмар ответственности, я был еще так недавно ренегатом своего долга, что ясное сознание того, что я должен сделать, не имело никакого влияния на мою волю. Я хотел жить, предаваться удовольствиям и сделать мою подругу счастливой. То, что я пренебрег своими обязанностями, не удручало меня, однако я становился молчаливым и озабоченным. Это наполовину отравляло светлую радость дня и повергало меня в мрачные размышления среди ночной тиши. В то время как я стоял и наблюдал за тем, как аэропланы Ившэма, эти зловещие птицы, летали взад и вперед, она стояла возле меня и смотрела на меня, она видела мою тревогу, но не могла ее объяснить себе; глаза ее, затуманенные выражением грусти, пытливо следили за мной. Лицо ее было в тени, так как солнце склонялось уже к закату. Не она была виновата, что я оставался. Она просила меня уйти — и ночью еще раз со слезами просила об этом.

В конце концов ощущение того, что она здесь, рядом, вывело меня из задумчивости. Я быстро повернулся к ней и предложил ей взапуски сбежать по склону горы.

«Не надо», — сказала она, будто это не соответствовало ее серьезному настроению.

Но я решил покончить с этой серьезностью и заставить ее пробежаться: когда у человека захватывает дыхание от бега, он уже не может грустить. Она споткнулась, я подхватил ее под руку. Мы побежали вниз, обогнали двух людей, которые с удивлением обернулись, так как, наверное, узнали меня. Когда мы были на полпути, послышался странный шум в воздухе. Мы остановились: над вершиной холма летели эти военные аппараты, один за другим.

Он остановился, очевидно обдумывая, как их описать.

— На что они были похожи? — спросил я.

— Они еще не были в бою, — сказал он. — Они были вроде наших теперешних броненосцев, но они еще не участвовали в боях. Никто не знал, чем угрожают сидящие на них раздраженные люди, да никто и не думал о них. Это были большие движущиеся аппараты; по форме они походили на лезвие копья с пропеллером вместо древка.

— Стальные?

— Нет, не стальные.

— Из алюминия?

— Нет-нет, ничего подобного, из очень обыкновенного сплава — ну, как медь, например. Он назывался... подождите. — Он потер себе лоб рукой. — Я все забываю, — сказал он.

— На них были орудия?

— Маленькие орудия с сильно взрывчатыми снарядами, выстрел производился из задней части ствола, а заряжались орудия с передней части. Это, разумеется, в теории, но они никогда еще не были в деле. Никто не мог сказать, как это произойдет. Между тем, я думаю, что было приятно быстро и легко кружить по воздуху, как стая молодых ласточек.

Мне кажется, что летчики даже не представляли себе ясно, как все будет в действительности. Эти летающие военные корабли были только малой долей бесконечного числа разных военных приспособлений, изобретенных во время продолжительного мира. Много было придумано и усовершенствовано таких предметов — адских, отвратительных штук, ни разу еще не испробованных: громадные машины, страшные взрывчатые вещества, величайшие орудия. Вы знаете отвратительный способ работы гениальных людей, изобретающих такого рода предметы. Они похожи на бобров, которые строят свои плотины и совсем не думают о том, что от этого реки выступят из берегов и затопят окрестности.

Когда мы в сумерках спускались к нашей гостинице по извилистой тропинке, все ясно предстало моим глазам: я видел, как все предвещало неизбежную войну под давлением властной, преступной руки Ившэма, и предчувствовал, что означала война при новых сложившихся обстоятельствах. Но и теперь, несмотря на то, что я осознавал, что, быть может, еще есть последняя возможность вернуться назад, я не мог заставить себя сделать это.

Он вздохнул.

— Это была последняя возможность для меня. Мы не пошли в город до тех пор, пока небо не покрылось звездами. Мы ходили взад и вперед по высокой террасе, и моя подруга все советовала мне вернуться. «Дорогой, — говорила она, повернув свое милое лицо ко мне, — это смерть. Жизнь, которую ты ведешь, — смерть. Вернись к ним, вернись к своим обязанностям».

Она заплакала, крепко прижимаясь ко мне и повторяя сквозь слезы: «Вернись, вернись».

Потом она вдруг замолкла. Взглянув на нее, я сразу понял, что она хочет сделать. Это было одно из тех мгновений, когда становишься ясновидящим.

«Никогда!» — сказал я.

«Нет?» — спросила она с удивлением и, кажется, немного испугалась того, что я ответил на ее мысли.

«Ничто, — сказал я, — не заставит меня вернуться. Ничто! Мой выбор сделан. Я избрал любовь, и свет должен уступить. Будь что будет — я хочу так жить, я хочу жить для тебя! Ничто не изменит моего решения, ничто, дорогая моя. Если бы ты даже умерла, даже если бы ты умерла...»

«Что тогда?» — проговорила она нежно.

«Тогда я тоже умру!»

Прежде чем она успела сказать что-нибудь, я заговорил красноречиво, как я умел говорить в той жизни: я стал восхвалять любовь, стал доказывать, что наша жизнь героична и величава, а то, что я покидаю, все это жестокое, крайне неблагодарное, вполне заслуживает быть отброшенным. Я прилагал все усилия представить все в самом ярком свете, так как должен был убедить не только ее, но и себя. Мы говорили — и она прижималась ко мне, раздираемая противоречивыми стремлениями: с одной стороны, то, что ей казалось благородным, с другой — то, что она знала как счастье. Потом я представил все в героическом виде, все бедствия земли я изобразил в виде блистающей оправы для нашей несравненной любви, и наши бедные, заблудшие души упивались под тихими звездами этим величием, зачарованные этим великолепным заблуждением или, скорее, опьяненные этой величественной иллюзией.

Таким образом я пропустил момент. Это была последняя возможность. В то время, когда мы ходили взад и вперед, вожди на юге и на востоке уже приняли свое решение, и горячий ответ, который должен был разрушить грубое своеволие Ившэма, уже назревал и готов был прозвучать. По всей Азии, по всему океану, везде на юге и воздух и провода трепетали одним позывным кличем: готовься! Ни один смертный не знал, что значит война, никто не мог себе представить, какие ужасы принесет с собой война при всех этих новых изобретениях. Мне кажется, большинство думало, что вся ее суть будет заключаться в блестящих мундирах, воинственных кличах, триумфальных шествиях, знаменах и боевой музыке — и это в то время, когда половика мира получает свое продовольствие за тысячи миль!

Человек с бледным лицом остановился. Я посмотрел на него — он уставился взором в пол вагона. Маленькая железнодорожная станция, целый ряд груженых вагонов, сторожевая будка, задняя сторона какого-то домика промелькнули мимо окна, прогремел мост, эхом повторяя грохот поезда.

— После этого, — сказал он, — я часто видел сны. В продолжение трех недель сны по ночам были моей жизнью. Самое худшее было то, что были ночи, когда сны не приходили, когда я ворочался с боку на бок на постели в настоящей проклятой жизни, а там — в потерянной для меня стране — совершались события, знаменательные, ужасные события... Я жил по ночам. Дни — те дни, когда я бодрствовал, та жизнь, которой я живу теперь, — превращались в бледный, далекий сон, в темную оправу, книжный переплет.

Он задумался.

— Я мог бы рассказать вам все, описать мельчайшие подробности сна, но то, что я делал днем — я не знаю, я не мог бы сказать вам, не помню. Память изменяет мне. Житейские дела ускользают от меня.

Он наклонился вперед и закрыл глаза руками. Долгое время он молчал.

— Что же дальше? — спросил я.

— Война разразилась наподобие урагана. Он уставился неподвижным взором, как бы видя перед собой недоступные описанию вещи.

— Что было потом? — настаивал я.

— Если бы придать этому малейший оттенок нереальности, — сказал он тихо, как бы говоря сам с собой, — все было бы только страшным сном. Но то не был страшный сон — все произошло в действительности. Да!

Он так долго молчал, что я стал беспокоиться, что не услышу конца его истории. Но он заговорил опять тем же тоном исповеди.

— Нам оставалось только одно — бегство. Я не думал, что война коснется Капри — наперекор всему я все еще надеялся, что Капри останется в стороне. Двое суток спустя повсюду раздавались крики, шум, гам. Почти все женщины и мужчины имели значки — эмблемы Ившэма; вместо музыки повсюду раздавались дикие боевые клики, мужчины записывались добровольцами, а в танцевальных залах производилось военное учение. Весь остров наполнился непрерывным шумом: ходили слухи, что бой начался. Я этого не ожидал. Я так мало видел радости в жизни, что для меня такое возбуждение было непонятно. Я оставался и стороне и походил на человека, который мог бы, если бы захотел, предотвратить взрыв порохового погреба. Но время ушло. Я был ничто, всякий мальчишка со значком Ившэма имел больше значения. Толпа толкала нас и кричала нам в уши; проклятый боевой клич оглушал нас; какая-то женщина с криком набросилась на мою подругу за то, что у нее не было значка. Мы пошли домой, сопровождаемые бранью и криками. Подруга моя — бледной и молчаливой, а я был полон яростной злобы. Я был так взбешен, что поссорился бы с ней, если бы увидел хоть тень упрека в ее глазах.

Все мое великолепие слетело с меня. Я ходил взад и вперед по нашей горной келье, за окном виднелось темнеющее море, а с юга вспыхивал какой-то свет, то пропадая, то появляясь вновь.

«Нам надо отсюда уехать, — повторял я снова и снова. — Я сделал выбор и не хочу участвовать в этой смуте, не хочу иметь никакого дела с этой войной. Нас все это не касается. Здесь нам не место. Уедем!»

На другой же день мы бежали от войны, охватившей весь свет. Потом началось бегство — все было только одним бегством.

Он мрачно задумался.

— Сколько времени это продолжалось?

Он не ответил.

— Сколько дней?

Лицо его было бледно и искажено, руки стиснуты. Он не обращал внимания на мое любопытство.

Я старался вопросами вернуть его опять к рассказу.

— Куда вы направились? — спросил я.

— Когда?

— Когда вы покинули Капри.

— На юго-запад, — сказал он и посмотрел на меня одно мгновение. — Мы поехали на лодке.

— Я думал, на аэроплане.

— Они все были захвачены неприятелем.

Я его больше не расспрашивал.

Немного погодя он начал опять с какой-то монотонной убежденностью:

— К чему тогда все это? Если эта война, эти резня и насилие — жизнь, зачем нам тогда стремление к удовольствию, к красоте? Если нет спасения, нет ни одного мирного места, если все наши мечты о тишине и спокойствии не что иное, как обман, мираж, зачем нам тогда такие сны? Не низменная страсть, не дурные намерения привели нас к этому — любовь заставила нас уединиться. Любовь явилась мне с ее глазами, облеченная ее красотой, прекраснее всего на свете, в образе и свете истинной жизни — и повлекла меня за собой. Я заставил замолчать все голоса, ответил на все вопросы — и пришел к ней. И нашел здесь только войну и смерть!

Мне пришло на ум спросить его:

— Это, может быть, был только сон?

— Сон! — крикнул он исступленно. — Сон... когда еще и теперь...

Он в первый раз оживился. Слабая краска залила его щеки. Он поднял руку кверху, сжал ее в кулак и тяжело опустил себе на колени. Он заговорил, не глядя на меня, и продолжал говорить, отвернувшись в сторону.

— Мы только призраки, — говорил он, — даже только призраки призраков, желания наши подобны тени облаков, воля наша — как солома, которую взвихривает ветер; дни проходят — неизбежность и привычка влекут нас за собой, как поезд мчит за собой тени своих огней, не так ли? Только одно реально и достоверно, одно не плод фантазии, но вечно и несокрушимо — это смысл моей жизни, а все остальное второстепенно, даже бесполезно. Я любил ее, эту женщину моего сна. Она и я — мы умерли вместе!

Сон! Как может это быть сном, когда это пронизало живую жизнь неутешным горем, если оно сделало все, чем я жил и о чем страдал, ненужным и бессмысленным?

До самого того момента, когда ее убили, я надеялся, что нам удастся уйти, — сказал он. — Всю ночь и все утро, пока мы ехали морем от Капри до Салерно, мы говорили о бегстве. Мы были полны надежды. Надежда, что мы будем жить вместе, вдали от всего, вдали от борьбы и войны, от суетных и безумных страстей и произвольного закона мира «ты должен! ты не должен!» — не оставляла нас до конца. Мы были выше всего этого, как будто наше стремление друг к другу было свято, наша любовь друг к другу — священная миссия...

Даже тогда, когда мы с нашей лодки увидели, что чудесный облик величавой скалы на Капри уже изрыт и изуродован складами оружия и валами, превратившими ее в крепость, — даже тогда мы не поняли, что неминуемо побоище, хотя от поспешных приготовлений стояли тучи дыма и пыли, все было как в тумане. Я даже пустился в рассуждения при виде этой картины. Скала вздымалась, все еще прекрасная, несмотря на все свои язвы, с бесчисленными окнами, арками и дорожками; она поднималась уступами футов на тысячу — огромная серая масса, пересеченная площадками с виноградниками, лимонными и апельсинными рощами, множеством агав, винных ягод и кущами миндальных деревьев в цвету. Вдали над аркой, возвышающейся над Пиккола-Марина, показались еще лодки, а когда мы обогнули мыс недалеко от материка, то увидели еще целый ряд маленьких лодок, шедших под ветром к юго-западу. Немного погодя их набралось великое множество, и самые дальние казались небольшими точками ультрамарина на тени западной скалы.

«Любовь и здравый смысл, — сказал я, — заставляют нас бежать от всех ужасов войны».

Хотя мы и видели, что целая флотилия аэропланов надвигалась по южному небосклону, мы не обратили на это никакого внимания. То тут, то там появлялся целый ряд небольших точек на небе, покрывая всю юго-западную часть горизонта, а там — еще и еще, и наконец вся эта часть неба была покрыта темно-синими пятнами. То они казались тоненькими синими полосками, то вдруг один из них, затем несколько сразу, закрывали собой солнце и блистали быстрой, яркой молнией. Они приближались, то вздымаясь ввысь, то опускаясь вниз и вырастая у нас на глазах, как громадная стая чаек, грачей или других каких-нибудь птиц; они подвигались с поразительной равномерностью, покрывая при своем приближении все более обширное пространство неба. Южное крыло эскадрильи двигалось против солнца, в виде облака, похожего на стрелу. И вдруг они круто повернули на восток и понеслись туда, становясь все меньше и меньше, все более призрачными, пока не исчезли с небосклона. Тогда мы заметили на севере, в высоте, боевые машины Ившэма, парящие высоко над Неаполем наподобие стаи комаров в летний вечер.

Это обеспокоило нас не больше, как если бы это была стая птиц. Даже грохот снарядов вдали, к юго-востоку, не внушал нам никаких опасений...

Каждый день — каждый раз, как я видел следующий сон — наши мысли были далеко от всего земного. Мы непрестанно искали приюта, где мы могли бы жить и любить. Усталость, горе и нужда одолевали нас. Мы были покрыты пылью и грязью от беспрерывной ходьбы, мы жили полуголодными, исполненными ужаса от виденных нами трупов и бегущих людей, — битва разлилась целым потоком уже по всему полуострову, — все это мучило нас, но тем не менее наша решимость во что бы то ни стало спастись только крепла. Как она была мужественна и терпелива! Она, которая никогда еще не испытывала лишений и страданий, не только не падала духом, но поддерживала и меня. Мы шли то в одном, то в другом направлении, ища выхода из страны, опустошенной и разграбленной толпами прошедших мародеров. Мы все время шли пешком. Сперва нас догоняли другие беженцы, но мы не присоединялись к ним. Некоторые бежали на север, многие смешивались с толпой крестьян, наводнявших все дороги; некоторые поступали добровольцами, и их усылали на север. Некоторые воодушевлялись всем этим, но мы держались в стороне. У нас не было столько денег, чтобы пробраться на север, и я боялся за свою подругу, как бы она не попала в руки этой толпы рекрутов. Мы высадились у Салерно, повернули от Кава, старались пройти к Таренто проходом через Монте-Альбурно, но должны были вернуться из-за недостатка пищи. Так мы спускались до самых болот близ Пестума, где стоят громадные одинокие храмы. У меня была слабая надежда, что в Пестуме мы найдем лодку и выйдем опять в море. И вот здесь-то настигла нас война.

Моей душой овладела какая-то слепота. Я видел, что мы окружены, что гигантская сеть войны накрыла нас своей паутиной. Сколько раз видели мы полки, шедшие с севера по разным направлениям, видели, как они прокладывали дороги для провоза амуниции и подъема орудий! Раз нам показалось, что они стреляли в нас, приняв нас за шпионов; как бы то ни было, но в нас стреляли. Сколько раз мы прятались в лесах от летавших над нами аэропланов!

Но все это не имеет теперь значения — все эти ночи, проведенные в бегстве и муках... Наконец-то мы были на открытом месте, близ громадных храмов Пестума, на белой каменной площади, покрытой колючим кустарником, ровной, пустынной и такой плоской, что стоявшая вдали группа эвкалиптов видна была до самых корней. Как все живо перед моими глазами! Подруга моя сидела под кустом и отдыхала, она была очень утомлена и слаба, а я стоял и старался разгадать, на каком расстоянии находились друг от друга орудия, все время метавшие над нами снаряды. Вы понимаете, сражающиеся находились еще далеко друг от друга, стреляли из этих ужасных, не бывших дотоле в употреблении орудий, выстрелы которых попадали в цель где-то вне поля нашего зрения, и никто не мог предсказать, что смогут сделать аэропланы.

Я знал, что мы находились между двумя армиями и что они сходились. Я знал, что нам грозила опасность и что мы не могли оставаться здесь, не должны были задерживаться.

Хотя я все это понимал, но это было у меня в подсознании, как будто все это нас не касалось. Я главным образом думал о своей подруге. Невыносимая боль наполняла мое сердце. В первый раз она упала духом и расплакалась. Я слышал, как она всхлипывала за моей спиной, но не оборачивался, так как сознавал, что ей надо выплакаться — слишком долго она сдерживалась ради меня. Самое лучшее, думал я, пусть она поплачет и отдохнет, а потом мы будем продолжать наш трудный путь. Я не имел никакого понятия о том, что должно было так скоро случиться. Я вижу ясно, как она сидела тогда — и эти ее милые волосы распустились по плечам, я могу хоть сейчас нарисовать ее впалые щеки.

«О, если бы мы уехали! — сказала она. — Если бы я тебя отпустила!»

«Нет, — возразил я. — Даже теперь я не раскаиваюсь. Я не хочу раскаиваться: я сделал выбор и хочу выдержать до конца!..»

— И что же дальше?

— Наверху в небе что-то блеснуло и разорвалось, и я услышал: пули со свистом пролетели над нами, как горсть гороха, внезапно брошенная на пол. Оторванные осколки камней и куски кирпича взлетали и неслись вихрем вверху, потом все смолкло...

Он прижал руку к губам, смочил губы языком.

— Когда блеснул огонь, я обернулся... Знаете, она встала. Она встала и сделала шаг вперед. Как будто хотела подойти ко мне. Пуля попала ей в сердце.

Он замолчал и уставился на меня. Я почувствовал всю ту неловкость, какую чувствуешь обыкновенно в таких случаях. На одну минуту наши глаза встретились, потом он отвернулся к окну. Мы долго молчали. Когда я снова взглянул на него, он сидел, откинувшись в своем углу, с прижатыми к груди руками и грыз свои пальцы.

Он вдруг укусил себя за ноготь — и словно проснулся.

— Я понес ее, — сказал он, — к храмам на руках, как будто это нужно было сделать. Не знаю, почему они казались мне священными... Они такие древние, думал я... Она, должно быть, умерла мгновенно. Но я говорил с ней, пока нес ее, все время...

Он опять замолк.

— Я видел эти храмы, — сказал я отрывисто.

Он так живо воскресил в моей памяти эти уединенные залитые солнцем колоннады из осыпающегося песчаника!

— Это был коричневый, большой коричневый храм. Я сел на упавшую колонну и держал ее на руках. После первого переполоха наступила тишина. Немного погодя ящерицы выползли из своих нор и стали бегать, как будто ничего не случилось, ничего не изменилось... Было до жути тихо, солнце стояло так высоко и тени были так недвижимы... Даже тени от трав на колоннах были неподвижны, несмотря на гул и треск, раздававшийся в небе.

Насколько помню, аэропланы приближались с юга, а битва удалялась на запад. Один аэроплан был подбит, перевернулся и упал. Я помню это, хотя это меня нисколько не интересовало. Мне все казалось таким неважным. Аэроплан был похож на раненую чайку — знаете, как они трепещут еще некоторое время над водой. Мне было видно между колонн храма: он был весь черный на светлой голубой воде.

Три или четыре раза снаряды взрывались вдоль берега, затем все стихло. Каждый раз все ящерицы торопливо убегали и прятались на некоторое время. Это был весь вред, который причиняли аэропланы; только раз шальная пуля задела камень, на котором я сидел, провела свежую яркую борозду по его поверхности.

Когда тени увеличились, тишина показалась еще глубже. Странно то, — заметил он тоном человека, ведущего простой разговор, — что я не думал, я совсем не думал. Я сидел среди камней, держа ее на руках, как будто в летаргическом сне, как окаменелый.

Я не помню, как проснулся. Не помню, как одевался в этот день. Я знаю только, что очнулся у себя в конторе, передо мной лежали вскрытые письма, и мне казалось таким абсурдом, что я нахожусь здесь, между тем как сознавал, что в действительности я сижу окаменелый в храме Пестума с мертвой женщиной на руках. Я, как автомат, прочел письма и сразу забыл, о чем в них говорилось.

Он остановился, затем наступила долгая пауза. Вдруг я заметил, что мы уже едем по спуску от Чок-Фарм к Юстону. Я удивился, что время прошло так быстро. Я резко повернулся к нему и спросил решительным тоном, каким говорят «теперь или никогда!»:

— А вы видели еще сны?

— Да...

Казалось, он должен был сделать над собой усилие, чтобы окончить рассказ. Голос его был очень слаб.

— Только один раз, и то только на несколько мгновений, мне казалось, что я вдруг пришел в себя, сел, а труп лежал возле меня на камнях. Худой, костлявый труп — не она, знаете... слишком скоро... это была уже не она... Я, может быть, слышал голоса. Не знаю. Я только ясно сознавал, что люди проникли сюда, в наш уединенный уголок, и что это последнее оскорбление. Я встал и пошел через храм, потом увидал сперва одного солдата с желтым лицом, одетого в грязную белую форму, отделанную синим, потом еще нескольких, вскарабкавшихся на старинную стену погибшего города и присевших там на корточки. Это были маленькие, блестевшие на солнце фигурки, осторожно оглядывавшиеся.

Дальше я заметил еще нескольких, потом еще, в другом месте стены. Это был длинный неправильный ряд солдат в развернутом строе.

Человек, которого я увидел первым, привстал и что-то скомандовал, люди его соскочили со стены в кустарник и направились к храму. Он слез вместе с ними и повел их. Он шел прямо на меня и, когда увидел меня, остановился.

Сперва я смотрел на этих людей с любопытством, но когда увидел, что они направляются к храму, мне захотелось запретить им это, и я крикнул офицеру:

«Вы не смеете входить сюда, я здесь! Я здесь со своей покойницей!»

Он остановился, потом крикнул что-то на непонятном мне языке.

Я повторил свои слова.

Он крикнул опять, а я сложил руки и стоял неподвижно. Тогда он сказал что-то своим людям и направился ко мне. Он держал в руке саблю наголо.

Я знаками показывал ему, чтобы они ушли, но он подходил все ближе. Тогда я сказал ему спокойно и ясно:

«Вы не должны входить сюда. Это древние храмы, и я здесь со своей мертвой...»

Он подошел так близко, что я ясно мог разглядеть его лицо. У него было узкое лицо, тупые серые глаза и черные усы. На верхней губе у него был шрам, он был грязен и небрит. Он продолжал говорить непонятные вещи, должно быть, о чем-то спрашивал меня.

Теперь я знаю, что он меня боялся, но тогда не понял этого. Пока я старался разъяснить ему, он повелительно прервал меня, приказывая, должно быть, отойти в сторону.

Он хотел пройти мимо меня, но я схватил его за руку.

Я видел, как он изменился при этом в лице.

«Безумец! — закричал я. — Разве ты не видишь, что она умерла!»

Он попятился назад, посмотрел на меня бешеными глазами. Я видел, как блеснула в них решимость, жажда чего-то. Затем вдруг, мрачно нахмурив лицо, он замахнулся саблей — вот так, назад, — а потом проткнул меня...

Он сразу смолк.

Я заметил перемену ритма в движении поезда. Тормоза заскрипели, вагоны вздрогнули и столкнулись. Действительность уже захватывала своим шумом и гамом. Я увидал сквозь закоптелое окно вагона, электрические огни, освещавшие со своих высоких мачт серый туман, целый ряд пустых вагонов, мелькнувших на запасных путях, потом стрелку, зеленые и красные огни которой пронизывали мрачные сумерки Лондона. Я снова посмотрел на его осунувшееся лицо.

— Он воткнул мне саблю в сердце. С каким-то изумлением, не страхом, не болью, но именно изумлением почувствовал я, как сабля проткнула меня, как она прошла сквозь мое тело. Мне не было больно, знаете, мне совсем не было больно.

Показались желтые огни платформы, замелькали сперва быстро, затем медленнее, и остановились после сильного толчка. Неясные фигуры людей двигались взад и вперед по платформе.

— Юстон! — крикнул какой-то голос.

— Что вы сказали? Я не чувствовал ни боли, ни острого жгучего укола, только изумление, потом все окутала темнота. Разгоряченное, грубое лицо передо мной — лицо того, кто меня убил, — как будто удалялось. Затем оно совсем исчезло...

— Юстон! — взывали голоса снаружи. — Юстон!

Дверь вагона отворилась, впуская целый поток звуков, носильщик стоял перед нами и ждал. Треск захлопывающихся дверей, стук от подков извозчичьих лошадей, и сквозь все это — издали — неопределенный грохот лондонской мостовой. Тележка с зажженными фонарями мелькнула на платформе.

— Потом разверзлась тьма, целый поток тьмы разлился и поглотил все.

— Ваш багаж, сударь? — поинтересовался носильщик.

— И это был конец? — спросил я.

Он, очевидно, был в нерешительности. Наконец почти беззвучно ответил:

— Нет.

— Так что же?

— Я не мог к ней приблизиться. Она была на другой стороне храма. Потом...

— Ну, что же? — настаивал я.

— Кошмар! — крикнул он. — Именно кошмар! Боже мой! Гигантские птицы раздирали ее на куски и дрались между собой!